



История этого снимка такова. В ноябре 77 года меня в первый раз пригласили в Венецию на Биеннале...

ПРОЩАЙ, ИОСИФ

Вот и случилось то, что с ним и раньше могло бы случиться и думать о чем всегда не хотелось: сердце его остановилось навсегда.

малосерьезное, с блуждающей (вот-вот сорвется) усмешкой полусмеха, которое, неожиданно (и сразу) тронутое изнутри какой-то мыслью, вдруг горделиво застывало, делаясь пугающей копией какой-то музейной бронзовой головы высокомерного римского патриция.

на скатерти нашего стола стихотворную шалость: Здесь ел пельмени готовый к измене родины Иосиф Бродский

ОЛЕГ ЦЕЛКОВ

ПАМЯТИ ПОЭТА

Утрата близкого человека тяжела тем, что все его существование — целиком — обрушивается на тебя. Смерть делает его присутствие в нашей жизни абсолютным. Случай великого поэта — особый. Поэт — пророк не потому, что он предсказывает землетрясения, но потому, что его жизнь бесповоротно сбывается после его смерти.

трусливой, с внятным инстинктом самосохранения. Т.е. мы, вероятно, могли ждать и ждали новых свершений не столько от себя, сколько от него. Теперь такой возможности нет. Есть настоящее, которое сбывается в каждом из нас, а смерть Иосифа Бродского касается всех без исключения.

Слова прощания

Каждый век особенно метится судьбой поэтов. Эти судьбы что-то вроде болевых отметин на створе времени. Так XIX русский век отмечен жизнью и словом Пушкина, а XX-й — в силу повышенной драматичности — потребовал несколько имен, в сущности, сразу.

Иосиф Бродский

Из «Римских элегий»

Наклонись, я шепну Тебе на ухо что-то: я благодарен за всё: за куринный хрящик и за стрёкот ножинок, уже кропящих мне пустоту, раз она — Твоя.

Иосиф Бродский

Ирина Муравьева

Владимир Гандельсман

Нью-Йорк

Бостон

IN MEMORIAM

зад, в Ленинграде, несколько знакомых собрались вечером у композитора Слонимского. Ждали и Бродского, но он не пришел; никто особенно не удивился, такое с ним бывало. Наутро стало известно, что его схватили, когда он выходил из дому, чтобы идти в гости. По тому были знаменитые суды, в промежутке между которыми Бродский побывал в общеве Горбунова и Горчакова в сумасшедшем доме на Пяряжке.

Спустя месяц почта доставила первое письмо, но не родителям, а Гале и Жене Рейн. Письмо было длинное, отчасти безумное и слабо поддающееся прочтению, однако на советском печатном конверте (куда-кому) стоял обратный адрес. «Тот свет» оказался местами, в буквальном смысле слова, не столь отдаленными — деревушкой в Архангельской области. На следующий день я туда выехал...

МИХАИЛ МЕЙЛАХ

Шато де Булон

НА СМЕРТЬ ИОСИФА БРОДСКОГО

Всякое стихотворение «На смерть...», как правило, служит для автора не только средством выразить свои ощущения в связи с утратой, но и поводом рассуждений более общего порядка о феномене смерти как таковой.

Бродский

Так хорошо и вольно умереть... Блок

После твоей смерти Как после Освенцима, Нельзя писать стихи.

После твоей смерти Нельзя читать твои книги. А чего их читать, если тебя уже нет.

Да и как их читать, Если ты их, как скифские жертвы, Взял в могилу с собой.

Надо же так умереть — Разгребая снег в занесенном донельзя Нью-Йорке, Разгребая снег на письменном столе.

Когда кончат дни свои поэт, Я думаю не об умолкшем слове, И не о том, что сойдет на нет Его судьба — с крылами наготове.

Я мыслю не о том, что мыслят все Как раз началом жизни занебесной, Когда мертвец во всей своей красе Предстанет там, где мы пока окрестны.

А думаю о том, что вот он здесь, Он здесь еще, и можно взглянуться На то, что мы всего-то лишь как весть, Но он как явь — воспринял ближе к сердцу.

И думаю о массе мелочей Обрядных, о бессилии врачей, О кладбище, а перед тем — о морге, О том, кто рухнул на дверном пороге.

Он лежал без движения и навзничь, под дверью, в очках. Друзья говорят: «Не ложился, мол, ночью работал...»

С лицом не Орфея, а больше — еврея-врача Он лежал, о движеньи нимало уже не заботясь.

Не Орфей двузвучный, не Нобель, а больше — Эней, Сердцедед-основатель, а если точнее, Вергилий, Гид по мертвому царству, по дольнему царству теней, Тех, что в зимнем Стокгольме его, говорят, обступили.

Хорошо египтянам: у них все идешь и идешь, И у жизни и смерти у них — ни конца и ни края. Все, что нужно для жизни и смерти, с собою берешь — Нессерс, словари и перо, чтоб во мраке сияло.

МАНУК ЖАЖОЯН

31 января — 1 февраля 1996, Париж

Иосифу Бродскому с любовью

У меня на столе лежит книга русских стихов, озаглавленная так: Иосиф Бродский «Остановки в пустыне», издательство Чехова, Нью-Йорк, 1970 год. Книга подписана: «Даниэль Вейсборту от Иосифа Бродского», а рядом по-английски: «От Русского к любовью». И подпись — удивительная, с завитками, напоминающая арабское письмо.

Происходило это в Лондоне, в огромном Королевском Фестивальном зале, куда Бродский приехал на чтение своих стихов. Он только что приехал, вернее сказать, его только что «выдернули с корнем» из России, из «русскости», и в Лондон его привез У.Оден, английский поэт, которого он любил больше остальных. Они проделали путь из дома Одена в Вене, который стал первым пристанищем Бродского на Западе, его первой «остановкой» в этой новой «пустыне», наступившей после изгнания из родной земли, которую он никогда больше не увидел.

Он часто подписывал свои письма «Из России к любовью», но в моем случае несколько изменил своей привычке, написав «из русскости» вместо «России», то есть скорее из языка, чем из географического пространства, и это была не ошибка, но, возможно, признание того факта, что я, будучи переводчиком, служу этому языку.

Быстрый взгляд на даты говорит мне, что с момента его недобровольного отъезда на Запад в июне 1972 года до ноября того же года, когда он в сопроводительном своего друга и ментора появился в Лондоне, прошло по крайней мере пять месяцев, стало быть, он не был таким уж «новичком» из России, как это подкашивает мне память.

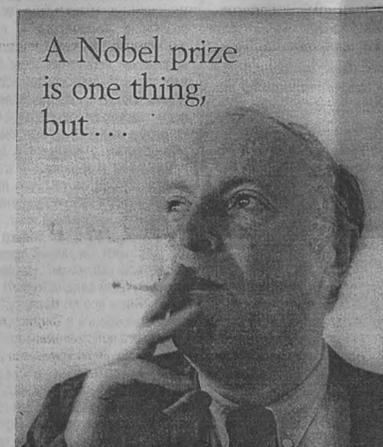
Но тогда значит, что У.Оден, умерший год спустя, оказался тем, кто вел молодого поэта по новой жизни, закаливая его и приучая, и одновременно заграждая от чужих и любопытных, будь то славы или газетчики. Довелось ли мне тогда поговорить с ним или нет? Память подводит, но, кажется, что да, довелось.

Но какое теперь все это имеет значение? Вещь сейчас я мучаюсь от только что принесенного известия, известия о его смерти!

Оден рассматривал каждую ежесекундную международную встречу поэтов как принадлежащую ему целиком и полностью, что-то вроде собственных домашних собраний, и на каждой такой встрече, не дожидаясь приглашения, всегда читал свои стихи. Разумеется, речи быть не могло о том, чтобы не включить заранее не запланированного Бродского в программу. Его пригласили в Лондон так же, как прежде приглашали на поэтический фестиваль в Сполетте, в 1970, но тогда его не выпустили из России. Думаю, что Оден не спрашивал никаких согласий и разрешений, но просто заявил, что его гость, живущий у него в доме Иосиф Бродский, будет читать свои стихи. Это чтение не просто невозможно забыть. Может быть, из всего огромного зала только несколько человек умудрились не закрыть глаза руками, пряча слезы. Что касается меня самого, я могу только сказать, что никогда я не испыты-

вал другого полного растворения в другом, такой полной самоотдачи.

Иосиф стоял на сцене — не помню, был ли рядом Оден? — без книги, без рукописей, вытянув руки вдоль туловища или заложив их в карманы, слегка откинув назад голову, и читал так, словно только приличные удерживали его от рыдания. В каком-то месте, как я помню, он забыл строчку. Тогда он остановился, опустил глаза, зажмурил их, прижал пальцы к переносице. Забытая строчка была трагедией.



A Nobel prize is one thing, but...

пишущий стихотворение пишет его прежде всего потому, что стихосложение — колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироощущения. Испытав это ускорение единожды, человек уже не в состоянии отказаться от повторения этого опыта, он впадает в зависимость от этого процесса, как впадают в зависимость от наркотиков или алкоголя. Человек, находящийся в подобной зависимости от языка, полагаю, и называется поэтом.

Иосиф Бродский. Нобелевская лекция.

И тут же стихотворение, которое как бы заблудилось в пути, обилось, как ребенок, было восстановлено, возращено. Неизбежно. Неизбежность этого была очевидна. Напряжение в зале — как вы можете представить — было невыносимым.

Я не помню, читались ли перепевы. Но независимо от того, понимали ли русский язык или нет, в этот вечер вы понимали Бродского. В конце чтения аудитория застыла так же, как он, стоящий на сцене.

Мы онемели. Словно какой-то вихрь проглотил все возможные слова, нашу речь как таковую. И лучшим ответом было это молчание, только это полное молчание, в котором мы различали лишь собственное дыхание, оно подчеркивало наше физическое присутствие, наше существование, внезапно отъединенное, осужденное от всего узко личного, и при этом одинокое, как одинокий был Иосиф Бродский, как одиноки мы всегда, когда доходит до самого главного.

Никогда с тех пор я не испытывал ничего подобного. Даже звонкие оглушительные чтения Дилана Томаса не идут ни в какое сравнение. Это не было ЧТЕНИЕМ. То, при чем мы присутствовали, было предельным выражением самой жизни. Мы стояли — а что еще мы могли? — и аплодировали.

ДАНИЕЛЬ ВЕЙСБОРТ

Перевод с английского

28 ЯНВАРЯ 1996 ГОДА

завтракующий, зачаровывал.

Такая же притягательность была в том, как он в 18 лет ездил по Ленинграду на велосипеде, в 24 поднимал на вилы силовую массу в деревне Норенская, в 25 рыл для Ахматовой атомное бомбоубежище в Комарове; и так же после сорока входил в суть чьих-то неприятностей и помогал людям, иногда малознакомым, — деньгами, устройством их дел.

Так же — немисливо талантливо, с немисливой энергией — писал он стихи. Если Нобелевские премии по поэзии дают за то, что поэт для поэзии делает, то его следовало бы награждать теми же наградами, которые он отдавал ей всю свою жизнь — не только поэзии собственной, но и других, вообще поэзии, на которую у него тем больше оставалось сил, чем больше он на собственную тратил. Это было как бьющий ключ, из которого чем больше берешь, тем он обильнее. Кастальский ключ.

Так же — с неслабеющей силой энергии — он читал стихи велух: в комнате, с эстрады, по телефону. Его череп был устроен, как музыкальный ящик. Все согласные носовые, все «р», «л», «г», «б», «д» начинали петь с первого слова стихотворения, как оркестр, дожидаящийся и преклоняющийся перед солистом — главным звуком, звуком поэзии, поэта, звуком, который слушателям проще всего было называть Бродским: это — Бродский, и этот звук ни с каким не спутаешь.

Он умер, и за час, прошедший с его смертью, мир потерял много. Это было не только потерянное слово, но и потерянный человек, и потерянный мир. Это было не только потерянное слово, но и потерянный человек, и потерянный мир. Это было не только потерянное слово, но и потерянный человек, и потерянный мир.

Мне все кажется, что жизнь его была ужасно короткой: вот он рыжий, румяный, юный; вот ему двадцать пять, день рождения, и он выходит из бременчатой коношской тюрьмы с двумя белыми ведрами, на одном написано «Хлеб», на другом «Вода»; вот после освобождения... Вот он тридцати двух лет исчезает — с глаз, из России, из здешней жизни — первые, так сказать, похороны, репетиция смерти. И вот, сорока восьми, снова появляется, открывая мне дверь в подвал на Мортон-стрит. Чтобы что-то, стало быть, досказать. И больше его нет.

Его нет больше. Нет уже юноши, нет уже нашего.

В шестьдесят каком-то году в белых заплатах я сопоставил его имя с именем Пушкина. Заметки попали на Запад и стали предисловием к «Остановке в пустыне», первой им самим собранной книге его стихов. По поводу сопоставления я выслушал немало нареканий от друзей и ругани от не-друзей. Через много лет в Нью-Йорке ко мне подошел издатель этой книги, и он сказал, что тоже был тогда смущен, — «но вот победы: победителей не судят». Под победой он подразумевал, прежде всего, Нобелевскую премию. Я же поставил два имени рядом, не потому что сравнил их — кого с Пушкиным сравнивали — и не масштаб и не характер дара имел в виду, а одно только качество, о котором сказал вначале: изобилие, избыток таланта и щедрость, с которой он тратился. Те давние, во многом наугад

написанные заметки, изданные во времена, когда под ними нельзя было даже по-человечески подписаться, заслужили мне право повторить сейчас то, что было выговорено наавтра после смерти Пушкина: «Солнце нашей поэзии закатилось».

Нашей всей — и нашей, когда-то тесного круга, нескольких молодых поэтов, даром, непонятно за что, получивших счастье запросто принимать его великодушную дружбу. Русская поэзия ослепела не потому, что умер поэт такого ранга, а потому что это была фигура, создававшая силовое поле такой мощности, в котором мы, его современники, все равно ровесники или младше, составляли единую поэтическое пространство, и с его смертью прорехи, которые эта сила покрывала, заглянули.

Ткань продолжает скрывать яркость, узор, цвет, но теперь это куски ткани. Больше того: всего за сутки, прошедшие с его смерти, мы вдруг ощутили, что те же самые лучшие стихи самых лучших нынешних поэтов чуть-чуть потускнели, похуже, как если бы их слова утратили энергию, которой он их по ходу собственного творчества и просто собственного существования подпитывал. Звездное небо русской поэзии по виду осталось таким же, только звезда, которой жизнь и движение мы лаблудали, по которой определяли положение других, потому что именно во взаимодействии с ней они кружились, остановились.

Такое уже бывало. Умер Пушкин, и хотя Баратынский его создавал лучшие свои вещи, и Лермонтов еще не написал главного, и Тютчев, уже опубликованный, еще не был известен, и, и, и... — а как-то невесело стало в русской поэзии, перекосилось как-то все. Кто-то делался первым и любимым, а мог и другой — и это отсутствие единого двигателя поэтической вселенной, по которой светила стали перемещаться как будто сами по себе, продолжалось вплоть до Блока.

Тридцать лет назад мы, и Бродский среди нас, хоронили Ахматову. Тогда было ощущение конца эпохи — культурной, если угодно, исторической. Сейчас — ощущение конца эпохи поэтической и, я бы осмелился сказать, творческой. Из тех поэтов, его и наших современников, чья жизнь вся была творчеством, только творчеством и ничем, кроме творчества, Бродский несравним ни с кем творческой мощью. Ее можно было почувствовать физически, например, читая его свои стихи: их температура как будто повишалась или понижалась в зависимости от его реакции. Так, по крайней мере, я чувствовал. Так я чувствовал всего лишь год назад, когда читал его про него.

Я знал четырех поэтов. Я их любил до дрожи губ, языка, горла. Я задерживал вздох, едва только чуял где-то чистое их дыхание. Как я любил их, Боже, каждого из четырех...

...Был нежен и щедр последний, Как зелен после потопы. Он сам становился песней, когда по ночной реке пукал сияющий кораблик и, в воду входя, лобочу, выныривал из захлабы с жемчугом на языке.

АНАТОЛИЙ НАЙМАН

Москва, 29.1.96